

# Раздел III

## ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

А. К. Базилевская

*г. Москва*

### **«Учиться, что есть человек и жизнь» («Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского)**

Кому не известно основополагающее для Достоевского — художника-человековеда и психолога — убеждение: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать <...> Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»? Комментируя понимание писателем «откровения о человеке», Н. А. Бердяев писал о его «поглощенности темой человека», о «гениальности в раскрытии тайн человеческой природы», совершенном освоении «метода антропологических изысканий и открытий» [2, с. 152, 151]. Разделив тезис Достоевского о человеке-тайне на составляющие, мы обнаружим его содержание во всей полноте. Вчитаемся в каждую из мыслей, опорных идей-чувств Достоевского. Возможно наметить литературоведческую схему: что? как? зачем? Положим ее в основание настоящей работы и рассмотрим текст «Записок из Мертвого дома», следуя совету И. А. Ильина: «Кто хочет понять Достоевского в его зрелости <...> тому целесообразнее начинать с “Записок из Мертвого дома”» [5, с. 332].

Первые воспоминания Достоевского об остроге содержатся в письме к брату Михаилу от 22 февраля 1854 г., написанном через неделю после освобождения. «Письмо, — отмечает В. Туниманов, — отчет, или “главная релиция”, о четырехлетней жизни в Мертвом доме и в то же время развернутый план будущей книги» [9, с. 67]. В нем содержится суммарное

определение членов каторжного «товарищества» с общей оценкой: «Это народ грубый, раздраженный и озлобленный». Затем возникает утверждение: «Впрочем, люди везде люди. <...> Есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото». А вот о себе: «А между тем характер мой испортился; я был с ними капризен, нетерпелив. Они уважали состояние моего духа...». Наконец, в письме брату от 9 октября 1859 г. по поводу будущей книги: «...там будет <...> изображение личностей, никогда не слыханных в литературе» [4, с. 169, 172, 349].

В письмах в совокупности отражена дорога познания Достоевским «тайны» человека, поначалу воспринимаемого лишь в группе себе подобных. Но более глубокий взгляд замечает затем то, что отличает одного человека от другого («есть характеры»). Оттеняется даже самочувствие лица, виновного в неумении разгадать «тайну» окружающих («характер мой испортился»), и, наконец, выражение радости постижения человека.

Первоначально в «Записках» рисуется тяжелая, безликая, серая масса арестантов. «С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем странном семействе...» Автор наделяет каторжан совпадающими характерами: угрюмые, завистливые, страшно тщеславные, формалисты, не способные ничему удивляться, «все были помешаны на том, как наружно держать себя». Была единая модель поведения, существовала схематичность образа жизни и действий, имело место стремление «попасть в общий тон всего острога». Достоевский классифицирует характеры, как он сам говорит — «сортирует» их на разряды. По существу, выделяет типы характеров, не оставляя за пределами своего внимания ни объединяющее их, ни разъединяющее.

Само по себе наличие в «Записках» множества классификаций говорит о взглядах писателя на «сортировку» характеров как на нечто относительное, ограниченное в своих возможностях. В наиболее развернутом определении характеров по разрядам эта мысль выражена отчетливо; едва завершив его, Достоевский сомневается в сделанных выводах: «Впрочем, вот я теперь силюсь подвести весь наш острог под разряды; но возможно ли это? Действительность бесконечно разнообразна...» Процесс дробления бесконечен и не имеет границ. Достоевский рассказами о каторжных художественно доказывает эту мысль.

Обратим внимание на то, что в остроге «все были мечтатели». Все мечтали о свободе, таили в себе надежду на нее. Подчеркивая это общее состояние, Достоевский делит каторжан с разным характером реакции, воли, силы чувств и развитости интеллекта на группы. Одни эту жгучую

для них надежду на свободу глубоко прячут даже от самих себя. Другие — также «таили про себя свои упования», но были более склонны к вере и надежде. Были и «отчаявшиеся», были, казалось бы, совсем «равнодушные». Но все они приняли за правило: «простодушные и откровение были в презрении». И «тихие», и «злые» одинаково сопротивлялись заглядыванию в их души. Можно ощутить разницу в способах защиты себя — мечтающего — от чужого взгляда. Отсюда и деление на угрюмых — мрачных и светлых — тихих — добрых. А как осторожно говорит Достоевский: «Сдается мне, что в остроге был еще отдел вполне отчаявшихся». Это — «сдается мне» относится к невозможности знания глубин души. Тайна сокрытия человеком своего «я» мешает разгадать его.

Определенное противоречие кроется в разделении героев на «молчаливых» и «говорунов». Каторжники, замечает рассказчик, чаще всего были «молчаливы» относительно «своих чувств, чужими же чувствами они интересовались живо». Все они мечтали «про себя», следовательно, это разделение затрагивает лишь внешнюю характеристику, однако психологические основания для выделения «молчаливых» есть. Например, Сушилову отводится роль человека, личность которого была узнана.

Напомним, что во время, близкое к написанию «Записок из Мертвого дома», Добролюбов в статье «Забитые люди» выделял группы характеров-типов по нравственным качествам и в целом обликам героев, выявляющим определенные социальные закономерности. Это, заметим, наиболее «проторенная» дорога к пониманию типов героев Достоевского. Важнее сегодня другое, особенно для наших целей, — определение групп характеров по способам их создания, их структуре.

Еще М. М. Бахтин утверждал, что герои Достоевского поливариантны, между тем «до сих пор еще так сильна тенденция монологизировать романы Достоевского. Она выражается в стремлении давать при анализе завершающие определения героям, непременно находить определенную монологическую авторскую идею» [1, с. 464]. С. М. Соловьев, принимая концепцию Бахтина, выявляет в творчестве Достоевского и монологические, и поливариантные образы: «Образы поливариантные, многосоставные являются открытием Достоевского, новым типом человека в мировой литературе и искусстве. Противоречивость свойств этого человека (именно в этом и основа всего типа!) представляла для Достоевского значительные сложности; и понятно, почему в его произведениях встречаются жалобы на трудность в передаче нового характера» [7, с. 55].

В «Записках из Мертвого дома» действительно имеются и монологические, и, в большинстве случаев, поливариантные образы. На последних

держится сама структура произведения, предполагающая открытие «тайны» человека: его характера, психологических состояний, мотивов поведения и многого другого. Вернемся к «разрядам», чтобы отметить: группа «мрачных» в наибольшей степени обладает «вариантностью» характеров. И это понятно. Достоевский пристально искал «человека в человеке», разгадывал тайну именно этих лиц, которые потеряли «облик Божий», но не могли не сохранить хотя бы в «зародыше» (слово Достоевского) человеческое начало. Наиболее показателен в этом смысле образ Орлова, не раз поразивший рассказчика своей непредсказуемостью.

Скажем и о тех, кого именуют в остроге палачами. Это плац-майор, Жеребятников, Смекалов и др. Лейтмотив обрисовки палачей: «Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую». Вместе с тем Достоевский дает «примеры, до крайности странные», трактует действия палача, полагая в нем возможное актерство, увлечение, азарт при отсутствии ненависти к жертве, в обыденной жизни палач может быть человеком «даже добрым, даже честным, даже уважаемым». Словом, и данная группа персонажей отвечает представлению о полифонии образов, лишний раз дает повод говорить о том, что в каждом человеке сокрыты человеческие качества, пусть даже исковерканные. И обратное: «Свойства палача находятся почти в каждом современном человеке». Утверждая так, Достоевский предупреждает об опасности любой тирании, «потребности самовластия», безграничного своеволия.

Любопытно сопоставить два высказывания повествователя «Записок»: «все люди, все человеки» и «что характер, то и вариация». Первое — только констатация, хотя и с позиций человеколюбия, что особенно ощутимо на фоне слов Достоевского в письме брату: «Люди везде люди». Второе утверждение содержит заявку на исследование, прежде всего художественное. Сама «тайна» привлекает Достоевского. О ней он постоянно будет упоминать в «Записках». Даже в самом рассказчике Горянчикове, которому писателем поручено открывать сокровенное в человеке, обнаруживаются странность и загадочность: «Он выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну...» Это только начало движения мысли: «...сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересоваться меня. В нем было что-то загадочное...»

В дальнейшем, когда Горянчиков сам поведет повествование, постоянно будут встречаться особые приметы и общие доказательства загадочности человеческой натуры: от обнаруживающих себя «вдруг», скрытых в глубинах души человека потенциалов, до бессознательных душевных

движений, остающихся навсегда непознанными; от некоторой намеренной неопределенности в описании характеров до ярко выраженных в них противоречий, начал двойственности. Не однажды читаем: «странный человек», «странный психологический случай», «странное высокомерие», «странное откровение» и т. п. Бесчисленны употребления слов «как будто», «какой-то», «что-то», «отчего-то» и других слов и оборотов, подчеркивающих неясность, неопределенность и в описании характеров, и в раскрытии внутреннего мира персонажей. Неопределенные местоимения позволяют во всех случаях наполнить образ ощущением загадки: рождается мысль об «избытке» того, что не поддается осмыслению.

9 октября 1859 г. Достоевский пишет брату: «Личность моя исчезает. Это записки неизвестного». Безусловно, нельзя всецело доверять этим словам; правы исследователи, утверждающие: «Устранив себя как персонаж, Достоевский менее всего думал об устранении своей точки зрения» [6, с. 382]; «воссоздал в “Мертвом доме” канву своего душевного состояния» [9, с. 91]; «его размышления тоньше, умнее мыслей скромного, ординарного человека Горянчикова» [10, с. 197]. Как ни рассматривать роль, место, значимость Горянчикова-рассказчика и его соотношение с личностью Достоевского, важно одно: писатель выразил в его записках свое видение и понимание многого, что ему пришлось пережить, какими дорогами мысли пройти. Он «весь был поглощен изучением человека», пишет в воспоминаниях А. Е. Врангель — свидетель работы Достоевского над произведением [3, с. 362].

«Изучает» человека и рассказчик «Записок». При этом в духе Достоевского — он постоянно находится между сильным желанием «разгадать» и не менее сильным ощущением: «очень трудно бывает распознать человека». На первых страницах своих записок Горянчиков останавливается лишь на одних впечатлениях от окружающих его людей. Не случайно книга открывается главой «Первые впечатления». Вот одно из мнений Горянчикова: «...впечатления действительности всегда сильнее, чем впечатления от простого рассказа». Но и впечатления действительности не безупречны: «Вот почему я и считал, что если смотрел на все с таким жадным взглядом, усиленным впечатлением, то все-таки не мог разглядеть много такого, что у меня было под самым носом». Он не раз будет возвращаться к «чудовищным и неожиданным впечатлениям первого дня». Но будет памятно ему и чувство: «С первого шага в этой жизни поразило меня, что я как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или, лучше сказать, неожиданного», — знаменательная фраза из излюбленных Достоевским. Важно, что с нее рассказчик

начинает путь от просто впечатлений к их осмыслению: «Впоследствии, уже довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю неожиданность такого существования и все более и более дивился на него». В этом высказывании можно увидеть вехи и пути, через которые, по Достоевскому, проходит всякий, кто желает познать человека и мир. Обратим внимание на напряженность мысли, эмоциональность восприятия, общий настрой Горяничкова, свойственный героям Достоевского и самому писателю.

На «впечатлении» от облика человека строится обычно характеристика персонажа. О Газине: «Он производил на всех страшное, мучительное впечатление». Сироткин же — «загадочное существо»: убил начальника, но выглядел ошеломляюще («прежде всего меня поразило его прекрасное лицо»). Отметим глубину воздействия на рассказчика внешних форм проявления обаяния или, напротив, устрашающего вида человека. В реакции на впечатление, в угадывании сокровенного в человеке принимает участие и вся масса населяющих острог. Как объяснение этому звучит фраза: каторжане «инстинктивно раскусывают человека». В повествовании постоянно присутствует и даже акцентируется их взгляд на многие явления, в первую очередь эмоциональное восприятие каждого человека, за которым следует суждение о нем, выражающее любовь, ненависть, боязнь. Они уважают, презирают, высмеивают...

Кажется, ни один герой не обойден проявлением оценочного отношения к себе. Во всем этом было немало непонятого, а то и удивительного, например, в отношении к полковнику: «...его не то что любили арестанты, его они обожали». О Смекалове «вспоминали с радостью и наслаждением», о том, как он сек, «припоминалось чуть не с умилением». Попытки объяснить есть — прощение секущему «за ласковое слово». Выражение чувств, направленных на других, не могло не характеризовать самого чувствующего. Арестанты не всегда оказывались безупречны или хоть отчасти справедливы в реакциях, эмоциональных суждениях о человеке. Людские толки часто будто «обволакивают» арестанта, создавая вокруг его личности ореол необычности, исключительности. Подчас вольное и необоснованное приписывание жутких и страшных преступлений делает из «посредственного» каторжника чрезвычайно страшного, вызывающего чувство ужаса арестанта. Так, Газину арестантская молва приписывала убийство малолетних детей.

Чтобы узнать человека, нужно время и масса наблюдений. Поэтому в книге часто повторяется слово «впоследствии». «Впоследствии я узнал, что подобные шутки были чрезвычайно невинны»; «В первые дни моей

острожной жизни я сделал одно наблюдение и впоследствии убедился, что оно верно» и т. п. Только со временем можно понять человека. На этой истине упорно настаивает автор «Записок». В его «догадках» о человеке присутствует и знание о его сложности, изменчивости, резких переходах от одного состояния к другому и многом другом, что не позволяет обнаружить раз и навсегда правду о человеке. Повествователь многими способами демонстрирует свое понимание этой сложности и невозможности окончательного суждения.

Есть еще одно важное положение, выводимое из содержания «Записок»: человек связан и не может быть не связан со средой своего общения. Когда-то Н. А. Бердяев сказал, что «единственное серьезное жизненное дело людей Достоевского есть их взаимоотношение, их страстное притяжение и отталкивание» [2, с. 170]. В общении герои «Записок» приобретают то, что их объединяет, в чем они сходны. В этом смысле каждый отдельный человек представляет среду. «Общий тон», делая человека зависимым в его взглядах, помыслах, поступках, затрудняет понимание личности, но в то же время в ряде случаев помогает ее разглядеть и объяснить. «Общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного, собственного достоинства, которым был проникнут чуть ли не каждый обитатель острога». А вот о зависимости: «Бывали характеры, резко выдающиеся, трудно, с усилием подчиняющиеся, но все-таки подчиняющиеся». Значит, разговор о единичных характерах, как и психология личности, не может быть представлен вне психологии той же массы.

В свое время Ежи Стемповский обратил внимание на фигуры поляков в «Записках», «появляющиеся в моменты самого сильного сюжетного напряжения». Критик не считает, что «образ поляков пристрастен, искажен неудержимой жадой унижить», но подмечает желание подчеркнуть «вечно живое, неутолимое самолюбие своих сокаторжников-поляков», найти ему объяснение: «Их страданий, казалось, не смягчило ни время, ни сочувствие товарищей по несчастью, которых они чуждались и как будто презирали». Стемповский видит возможность сказать в целом об описаниях поляков как о не выходящих «за рамки объективных», однако учитывает, что те, с кем судьба свела автора «Записок», были «мучениками за свою идею», принимали «мистическое утешение в мессианизме», что отвергалось Достоевским [8, с. 54–55, 65].

Судя по тексту «Записок», Достоевский действительно понимал трагедию поляков, причины их мрачности и нетерпимости: «...все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые, это понятно: им было тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они

далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки <...> они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих <...> что тоже очень было понятно: на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств». Впрочем, «несчастливая» точка зрения была узкой, несправедливой, особенно ввиду того, что «никто из каторжных <...> не упрекнул их ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей <...> обращались даже уважительно...». При этом рассказчик «Записок» не только сочувствовал товарищам-полякам, но с некоторыми из них «сходился довольно коротко и даже с удовольствием», прислушивался к их суждениям о сословных конфликтах в остроге, о решительных, бесстрашных характерах.

Сложность «разгадывания» характеров обусловлена более всего их неоднозначностью, склонностью к резкой изменчивости. Сказывалась точка зрения Достоевского: «тайна» — это сфера «бессознательного». В письмах поры создания «Записок» Достоевский говорил о «наружной коре» человека, и в «Записках» рассказчик ставил себе задачу «снять наружную кору», увидеть за ней истинное лицо, может быть, дойти до настоящей глубины, до причин «непредсказуемости». Способы ее выявления различны. Один из них — описание внутреннего мира героя, ситуации, значительного события через очень емкое и значимое у Достоевского слово «вдруг»: «Часто человек сам терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке...» Здесь же: «ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости» — фиксация внезапных «вспышек» как ключей к сокровенному. Любопытно, что слово «вдруг» сопровождает раскрытие образа самого повествователя — наблюдателя и судьи других. Его «загадочность», с одной стороны, не способствует вере в надежность его суждений. Но с другой — подтверждает авторскую мысль о наличии в каждом человеке неуловимого, неожиданного.

Труднопознаваемость человеческой натуры оттеняется и своеобразием в использовании общеизвестных художественных приемов: внешнего портрета, раскрытия внутреннего мира через диалог, монолог-исповедь и др. Они выполняют, казалось бы, обычную функцию: представить человека раскрытым для читателя «настежь». Но и здесь в разных формах присутствует подчеркнутый элемент недосказанности. Автор «Записок» любит всматриваться в детали наружности, особенно в выражение глаз, свойственные человеку жесты, манеру держать себя. «По лицу его было видно, что это самый не задумывающийся человек в мире», — сказано



о Жеребятникове. «Я любил его улыбку, всегда нежную и сердечную», — написано об Алее. Однако и тот, и другой случай описания — в традициях литературного анализа. Он становится ярко «достоевским», когда человек изображается как существо противоречивое, многомерное и потому трудноуловимое в своем психологическом, скрытом за наружностью начале. Иногда, без объяснений, писатель дает рисунок внешности, намеренно исключающий единство впечатления.

Всегдашнее нерасположение Достоевского (от недоверия — к психологическому анализу напрямую, от всезнающего автора — к герою) сказалось и в «Записках». Читаем: «И кто знает, какой психологический процесс совершился тогда в душе его!» Надежным способом узнать человека был, по мнению Достоевского, рассказ его о самом себе. Однако в нем много неосознанного и бессознательного, а иногда есть и намеренное стремление обмануться, утаить обнаруженную правду: «Кто знает, может быть, стыдился про себя». Исповеди персонажей раскрывают мотивы поведения и преступлений, которые далеко не всегда ясны самому говорящему, а нередко отражают парадоксальное психологическое состояние. Например, «состояние не без примеси того злорадного ощущения, которое доходит иногда до потребности нарочно беречь свою рану, точно желая полюбоваться своей болью», — типичное самочувствие героев Достоевского. Эмоциональная напряженность исповеди создается как самим пересказом событий — часто затаенным, так и репликами заинтересованного слушателя, всегда обеспокоенного случившимся. Ввод исповеди в повествование подчеркивается нередко благоприятным начальным впечатлением от того, кто будет рассказывать затем о своем страшном поступке (например, Сироткин). Подчеркнутый интерес главного героя к другим персонажам составляет один из источников захватывающей силы «Записок». Исповеди, таким образом, звучат в составе диалогов. Диалог у Достоевского, по мнению М. М. Бахтина, является не преддверием к действию, он — само действие. Все диалоги насыщены художественным материалом, помогающим обнаружить натуру, своеобразие той или иной личности.

Отметим как способ «испытания» характеров смех. В «Записках» находим наблюдение Достоевского: «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший». Здесь же о странном: «Только в остроге я слышал рассказы о самых страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым

неудержимым, с самым детским смехом». Смех может обозначать безобидное комическое восприятие действительности («шутник» Баклушин). Есть у Достоевского и смех-маска, за которым — отвратительная личность. «Нравственный Квазимодо» А-в раздражал Горяничкова своей вечной «насмешливой» и «отвратительной» улыбкой.

Люди не любят быть смешными. И это нередко заставляет их принимать правила поведения среды, которые в глубине души они, может быть, и осуждают. Поэтому особо отвратителен массовый смех и даже подтрунивание, особенно над униженным и унижающим себя человеком. Жуткость атмосферы, в которую попал Горяничков, передается упоминанием уже не смеха, а хохота — «бесстыдного хохота» «среди ругательств и невыразимого цинизма». Но в этом ли суть Человека? Можно ли в разгадывании ее остановиться и довольствоваться снятием лишь некоторой части «наружной коры»? Достоевский продолжает поиски «человека в человеке».

В «Мертвом доме» отразятся размышления писателя о человеческих ценностях, достоинстве, о человеческом общении, о воскресении и «восстановлении» человека и о многом другом. И если Достоевский сомневался в возможности разгадать все «тайны» человека, то знание его о том, каков должен быть человек, было в нем непоколебимо и соответствовало законам высокой нравственности.

Известно, с какой горячностью в позднем творчестве Достоевского, в его публицистике будет отстаиваться мысль, что в самой природе каждого человека заложено все, что дано ему жизнью своею развить или заглушить. «Записки из Мертвого дома» не обнаружили еще такого резкого неприятия «теории среды». Однако здесь прозвучит: «Те же, отступники дела, волки в овечьем стаде, что бы ни представляли в свое оправдание, как бы ни оправдывались, например хоть средой, которая заела и их в свою очередь, всегда будут неправы, особенно если при этом потеряли и человеколюбие. А человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств. Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, да не вся же...» Человек, по Достоевскому, вопреки действительности должен, даже обязан, оставаться человеком, к тому же «никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь его забыть, что он человек».

Примечательно, что преступления, совершенные «светлыми» героями, интересуют писателя значительно больше, чем деяния «злых и угрюмых». Подоплека и мотивы преступлений Сироткина, Алея, старика-старовера рассмотрены тщательно и скрупулезно. Светлые личности потому

и светлые, что хранят в себе врожденное нравственное чувство, — такова мысль Достоевского. Но все же почему робкий Сироткин оказался убийцей, а справедливый Аким Акимыч устроил самосуд над человеком? По словам Сироткина, на преступление его толкнуло «жестокосердие» окружающих. Недаром Алей во время прощания говорит главному герою: «Ты меня человеком сделал». Затем писатель продолжает: «Боже мой! Да человеческое обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнел образ божий». Лезгин Нурра произвел, как говорит Горянчиков, на него с первого же дня «отрадное и самое милое впечатление»: «ему жаль меня». Однажды он наблюдал, как «родственно отозвался в душах» каторжан неудачный побег их товарищей: «...все стали сердечно следить за ходом дела в суде».

Каторга привела писателя к мысли о том, что лишь в религиозном сознании во всей глубине осмысливается проблема человека. В человеке, минуя наносное, утверждается духовное начало, а как исток его — народная вера в добро, любовь, «сияющую личность» Христа. В «Записках» Достоевский неоднократно описывает молящихся арестантов, их благоговейное отношение к религиозным праздникам. Так, Алея, который учился русскому языку по Новому Завету, горячо отзывался о Христе: «Иса святой пророк; Иса божий слова говорил». Однако еще не наступило время, когда Достоевский страдание, «мученичество» возведет в ранг добродетели. Поэтому милые, тихие старички с «кроткими глазами» не несут в себе всей нравственной правды.

Одно из сильнейших чувств человека — любовь к жизни. Вспомним, с каким настроением Достоевский отправлялся на каторгу и как он расценивал, казалась бы, не сулящую никакой отрады жизнь: «Жизнь дар, жизнь счастье!» И об этой страсти к жизни, и о привыкании к тяжелым обстоятельствам он будет говорить в «Записках». Позже в «Преступлении и наказании» он выразит свою мысль следующим образом: «Подлец человек ко всему привыкает». В «Записках» этому соответствуют рассуждения о «живучести человека». С естественной потребностью в живой жизни связана, по убеждению Достоевского, такая черта, как «детскость». Она же — свидетельство «божьего» начала в природе человека. Отсюда постоянное обнаружение, даже у самых закоренелых преступников, «детскости» как живого ощущения жизни, как естественности и непосредственности, простодушия и доверчивости (эпизод театрального представления в остроге или покупки лошади). «Одним словом, это были дети, вполне дети, несмотря на то, что иным из этих детей было по сороку лет».

К человеческим ценностям Достоевский отнесет не только «мягкость сердца», «душевную честность». Парадоксально сходятся в своих ведущих внутренних качествах Сироткин и Петров, Алей и Орлов. Последний изумил рассказчика тем, что «мог повелевать собою безгранично». А вот об Алее: «сильная и стройная натура, несмотря на всю видимую свою мягкость». Таким образом, в «ибо хочу быть человеком» включаются, по Достоевскому, и энергия, сила, твердость, необходимые для сохранения человеческого в человеке, укрепления нравственных основ.

Наблюдения в остроге дали богатый материал для размышлений в «умной и назидательной» книге, какой является, по словам Л. Толстого, книга Достоевского о каторге. Как складывается в повседневной жизни представление о человеке, что из этого представления оказывается верным и приближает к «разгадыванию» личности — главная идея художественного построения «Записок из Мертвого дома». При этом акцентируется стремление постигнуть натуру человека не только в индивидуальных проявлениях, но и в общих закономерностях. В письме к брату перед отправкой на каторгу Достоевский говорил о своем желании «учиться, что есть человек и жизнь». И он учился — от первой до последней своей строки.

Достоевскому принадлежит видное место среди родоначальников так называемой «лагерной прозы». Он следовал давней традиции, идущей от «Моления Даниила Заточника», осмысленного последующими поколениями под знаком острога, от Жития протопопа Аввакума, который впервые писал о себе как о литературном герое тюремного быта. Достоевский создал книгу о «неистовом» человеке, каким, по существу, был и сам автор «Записок».

В период обдумывания и художественного претворения замысла «Записок» возрос интерес Достоевского к Гюго, прежде всего к его новелле «Последний день осужденного» с образом «уединившегося мыслителя». Вскоре Достоевский познакомится с романом «Отверженные», напишет предисловие к «Собору Парижской Богоматери», где разовьет дорогую для себя мысль, воспринятую от Гюго, о «восстановлении погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств», об «оправдании униженных и всеми отринутых парий общества». Позднее писатели Европы будут говорить о способности Достоевского «проникать в глубочайшие тайны психологии», о «реализме, почти ужасном в своей правдивости» (О. Уайльд).

«Записки» Достоевского потрясли и первых русских читателей, среди которых был И. Тургенев, отметивший «тонкую и верную психологию»

выведенных лиц. Л. Толстой отозвался об авторе книги: «Точка зрения удивительная — искренняя, естественная и христианская». Он счел необходимым опубликовать в «Круге чтения» отрывки из «Записок» — «Орел» и «Смерть в госпитале», и вновь возвратился к «Мертвому дому» при описании тюрьмы и ссылки в романе «Воскресение». А как искренне, по-христиански, рисует Толстой ссыльных, наказанных страданиями «за то, что хотели быть тем, чем родились — поляками», в повести «За что?!» Чеховская поездка на Сахалин, не по приговору суда, а по совести, его книга об увиденном — не следование ли нравственным требованиям Достоевского?

Художественный опыт «Записок из Мертвого дома» так или иначе учитывают авторы недавних произведений о тюрьмах, лагерях, подводящих итог грандиозной и вместе с тем трагической советской эпохе. В книгах А. Солженицына, в рассказах В. Шаламова, в «Факультете ненужных вещей» Ю. Домбровского и других произведениях нередки упоминания о Достоевском, сопоставления обликов каторжников «Записок» и заключенных ГУЛАГа, боль-сострадание, пронизывающее картины «народных испытаний». Не все уверовали в идею «восстановления», некоторые усомнились в полноте разгаданных Достоевским «свойств русской души» (Шаламов). Автор «Колымских рассказов» желал бы видеть не очерки типа «Записок из Мертвого дома», а очерки с «более авторским лицом». Открытое «авторское лицо» обнаружил «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына с его убежденностью в том, что «линия, разделяющая добро и зло, проходит <...> через все человеческие сердца». Более всего по тону и духу к «Запискам» Достоевского приближается рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Своеобразное по стилю, на первый взгляд — почти будничное, повествование об «обыкновенной необыкновенности» лагерной жизни содержит трагические сцены, и вместе с тем в нем, как и у Достоевского, утверждается достоинство человека, показаны его доброжелательность, терпимость, которые поддерживаются в нем твердыми нравственными и духовными началами. Достоевский, в своей «поглощенности темой человека», имел и имеет немало число литературных наследников.

---

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.

2. Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 2. С. 151–176.

3. Врангель А. Е. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском в Сибири // Достоевский в воспоминаниях современников : в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 345–368.
4. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1985. Т. 28, кн. 1.
5. Ильин И. А. Гении России // Собр. соч. М., 1997. Т. 6, кн. 3. С. 195–520.
6. Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966.
7. Соловьев С. М. Изобразительные средства в творчестве Достоевского. М., 1979.
8. Стемповский Е. Поляки в романах Достоевского // Новая Польша. 2000. № 7–8. С. 54, 55, 65.
9. Туниманов В. А. Творчество Достоевского. 1854–1862. Л., 1980.
10. Якубович И. Д. «Записки из Мертвого дома» и «В мире отверженных» П. Ф. Якубовича // Достоевский : материалы и исслед. Л., 1988. Т. 8. С. 192–202.

**В. В. Борисова**

*г. Уфа*

### **Эмблематический код малой прозы Ф. М. Достоевского**

Принципиально значимая особенность малой прозы Ф. М. Достоевского в плане поэтики — это ее эмблематичность как реализация принципа зримого изображения идеи и как следствие особого сопряжения публицистичности и художественности в «Дневнике писателя», в котором художественный текст чаще всего помещается в публицистическую рамку, приобретая значение идейной доминанты, композиционного центра в контексте всего издания. Функционируя в его составе, произведения малой прозы берут на себя основную смысловую нагрузку. Именно поэтому в них появляются эмблемы, выступающие как наглядные воплощения главных мыслей и убеждений Достоевского.

Эмблематичность художественных текстов в данном случае коррелирует с образностью, заданной авторским контекстом, с наглядностью и дидактичностью. Может показаться, что подобная установка входит в противоречие с творческими установками писателя, допускающего множественность точек зрения, оценок, позиций и даже провоцирующего